

Изо
IV Международный съезд славистов

Доклады

В. В. ИВАНОВ и В. Н. ТОПОРОВ

**К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
О ДРЕВНЕЙШИХ ОТНОШЕНИЯХ
БАЛТИЙСКИХ
И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО АН СССР

Москва 1958

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
С О В Е Т С К И Й К О М И Т Е Т С Л А В И С Т О В

В. В. И В А Н О В И В. Н. Т О П О Р О В

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
О ДРЕВНЕЙШИХ ОТНОШЕНИЯХ
БАЛТИЙСКИХ
И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О А Н С С С Р
Москва 1958

4

И-20

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ЯМКОЗНАНИЯ
А.Н. ЦСР

52903

Настоящий доклад не претендует на решение вопроса о древнейших отношениях между балтийскими и славянскими языками в том плане, как это обычно делается в работах, посвященных этой проблеме. Цель доклада заключается в выяснении некоторых методологических предпосылок для исследования этого вопроса. Рассмотрение именно этой стороны проблемы нам представляется особенно важным как по соображениям общетеоретического характера, так и потому, что в новой литературе вопроса эта сторона либо вовсе отсутствует, либо освещена далеко не в достаточной степени. Во многих работах осмысление излагаемых фактов, по существу, основано на традиции, восходящей еще к Шлейхеру. Хотя теория родословного древа открыто никем не принимается, с ее помощью пытаются объяснить отношения балтийских и славянских языков. Даже у тех лингвистов, которые в работах, посвященных этой теме, использовали некоторые новые понятия и методы пространственной лингвистики (в широком понимании этого термина, охватывающем новые идеи, начиная от И. Шмидта и Шухардта через французскую лингвистическую географию до неолингвистики, Пизани, Краэ и Порцига), теоретическая сторона оставалась в пренебрежении. И то и другое направление в решении балто-славянской проблемы не ставило перед собой вопроса о том, что нужно доказать для положительного или отрицательного вывода о характере отношений между балтийскими и славянскими языками. Как правило, работы в этой области ограничивались эмпирическим перечислением отдельных сходств или различий. Иногда отдельным чертам без анализа их места в системе придавалось слишком большое значение и даже в ряде случаев решение общего вопроса ставилось в зависимость от них.

Вследствие неясности теоретических предпосылок результаты исследования часто зависели от субъективных склонностей отдельных авторов. Запутанность картины усугубляется терминологической неразберихой, из-за которой одни и те же понятия связываются с различными терминами и, наоборот, один и тот же термин понимается по-разному.

В ряде работ решение балто-славянской проблемы определялось в основном данными истории, археологии и антропологии. Однако вопрос о древнейших отношениях балтийских и славянских языков является исключительно лингвистическим, и его решение может быть достигнуто только лингвистическими средствами. Поскольку язык является основным средством коммуникации в обществе, исследование каналов коммуникации между группами может быть осуществлено только посредством анализа лингвистических отношений, а не путем изучения предметов материальной культуры, черепов и керамики, которые сами не являются средствами коммуникации и отражают линии связи между коллективами лишь в преобразованном и искаженном виде. После того, как с помощью лингвистических методов реконструируется формальная система отношений, ей может быть дана содержательная интерпретация (т. е. выяснение ее соотносительности во временном и пространственном плане) при использовании данных других социальных дисциплин. В этом смысле можно сказать, что по отношению к доисторическим эпохам внешняя лингвистика определяется внутренней.

Лингвистическую проблему древнейших отношений балтийских и славянских языков не следует понимать как вопрос о том, был или не был единый балто-славянский праязык. Постановка такого вопроса неправомерна уже потому, что она предполагает изображение распада индоевропейской семьи в духе теории родословного древа Шлейхера. Признание неправомерности такой постановки вопроса не исключает возможности установления тождества моделей древнейших состояний балтийских и славянских языков. Вместе с тем не следует думать, что теория родословного древа оправдала себя в отношении таких часто приводимых в качестве примера групп, как индоиранская или италийская (и итало-кельтская). Ис-

следования последних десятилетий показывают, что и для этих групп древнейшее состояние нужно понимать не как традиционный праязык, а как пространственно-временной континуум диалектов. Мы имеем в виду применительно к индоиранским языкам исследования по дардским языкам, подрывающие в известной степени традиционное представление о двучленном разветвлении арийских языков на индийскую и иранскую ветви, и работы по древним арийским заимствованиям в ближневосточных письменных памятниках, а по отношению к италокельтским языкам серию работ, начатых монографиями Вальде, и ряд новейших исследований о венетском языке в его отношении к латинскому и другим индоевропейским.

Второй причиной, по которой представляется неправомерной постановка вопроса о том, был или не был балтославянский праязык, является неприменимость понятия «язык» по отношению к той эпохе, которую обычно называют балтославянской. Дело в том, что вопрос о единстве языка не может быть решен без учета внелингвистических фактов, указания на которые в данном случае отсутствуют (наличие политических объединений, лингвистическое самосознание говорящих и т. д.).

Поэтому мы вынуждены поставить балтославянский вопрос в несколько ином плане: в плане выяснения отношений моделей древнейших состояний балтийских и славянских языков. Под выяснением отношений должно пониматься не интуитивное определение близости, основанное на перечислении некоторых общих черт, а выведение формальных показателей степени тождества этих систем. Вместе с тем представляется желательным исследование возможностей положения этих систем друг на друга с целью выяснить, являются ли они результатом преобразования одной и той же исходной системы, не являющейся в то же время исходной общеиндоевропейской.

Сводя вопрос о древнейших балтославянских отношениях к сопоставлению моделей древнейших состояний балтийских и славянских языков, мы тем самым определяем нижнюю хронологическую грань периода, по отношению к которому ставится этот вопрос. Тем самым из этого периода исключаются все явления, относящиеся к позднейшей самостоятельной истории балтийских и славянских языков.

Из сказанного следует, что решение вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков связано с необходимостью реконструкции древнейших состояний этих языков. Поэтому следует рассмотреть вопрос о средствах и источниках такой реконструкции.

Одним из основных источников для реконструкции являются данные письменно засвидетельствованных языков и живых диалектов. Между балтийскими и славянскими языками имеются значительные различия по характеру этих источников и по возможностям реконструкции, обусловленным ими.

Данные славянских языков характеризуются большим однообразием, что дает возможность довольно точно проецировать эти данные в доисторическую эпоху, слабо дифференцированную в диалектном отношении и отстоящую очень недалеко от времени создания первых письменных памятников. Поскольку эти письменные памятники не старше конца первого тысячелетия н. э., конец праславянского состояния должен быть отнесен к весьма позднему времени. Иную картину представляют собой балтийские языки. Прежде всего следует подчеркнуть исключительную диалектную дробность балтийской языковой области. Диалектные различия даже в пределах одного балтийского языка восходят в некоторых случаях к индоевропейской древности. Различия между отдельными литовскими диалектами больше, чем различия между славянскими языками разных групп, засвидетельствованные в древнейших памятниках. Различия между прусским и восточнобалтийским в некоторых случаях можно сравнить с различиями между разными группами индоевропейских языков. Если праславянский язык является вполне реальным (и возможно восстановление не только отдельных его элементов, но и целых слов и их сочетаний), то реконструкция языка, исходного для всех балтийских, сопряжена с очень большими трудностями и в ряде случаев оставляет пробелы в восстановленной системе. Зато в тех случаях, когда реконструкция осуществима, она дает возможность проникнуть значительно глубже, чем реконструкция праславянского. Конец исходного состояния для балтийских языков в плане абсолютной хронологии явно не

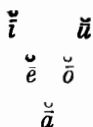
совпадает с концом праславянского и относится к гораздо более раннему времени.

В связи с этим особое значение приобретает использование метода внутренней реконструкции для исследования древнейших периодов истории праславянского языка. Реконструированную таким способом систему можно сопоставить с моделью, восстановленной для балтийских языков, с меньшим риском хронологических несовпадений.

Реконструированным фактам может быть дано истолкование в виде структурной модели. Каждой совокупности фактов может соответствовать не одна, а несколько моделей древнейших состояний. Теоретически представляется возможным выработать критерии отбора из нескольких моделей одной, которая должна быть предпочтена остальным. Настоящий доклад не ставит перед собой этой задачи. Мы ограничимся лишь некоторыми замечаниями относительно методов установления таких моделей и рассмотрим одну из возможных моделей для того, чтобы с ее помощью иллюстрировать предлагаемый метод исследования древнейших языковых отношений.

Трудности, возникающие при реконструкции древнейших состояний и при их соотнесении, можно показать при рассмотрении вокализма. Сравнивая данные древнейших памятников славянских языков, можно восстановить довольно разветвленную систему гласных, послужившую исходным пунктом для эволюции вокализма отдельных славянских языков. Этой системе были свойственны, в частности, противопоставление носовых гласных и неносовых, наличие редуцированных, специфические фонемы *ě* и *y*. Эта система не обладала достаточной устойчивостью и уже на ранних этапах развития отдельных славянских языков преобразовалась по-разному в соответствии с тенденциями отдельных языков. Неустойчивость этой системы в значительной степени определялась тем, что она явилась результатом длительной эволюции, связанной с различными процессами, которые можно объяснить тенденцией к большей взаимозависимости последовательных элементов в слого (это определение обнимает тенденцию к открытию слога, палатализацию, веларизацию и т. п.). Собственно славянский характер этих процессов выясняется из показаний самих

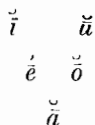
славянских языков. Поэтому данную систему можно отнести к самому позднему периоду истории праславянского языка. Поскольку известны пути и причины возникновения этой системы, мы можем, последовательно исключая то, что связано с общими тенденциями, прийти к более древней системе и к процессам, не связанным с этими общими славянскими тенденциями. Таким процессом является совпадение *a* и *o* кратких и долгих. Мы не видим возможности объяснить это совпадение с помощью чисто-славянских тенденций, и поэтому мы вынуждены считать этот процесс более древним, чем другие процессы, известные нам из истории праславянского языка. Более того, этот процесс целесообразно рассматривать как толчок к преобразованию всей системы вокализма, так как он впервые нарушил симметричную систему гласных, которую можно представить в виде треугольника:



Другие известные нам преобразования членов этой системы явно относятся к более позднему периоду и могут быть в ряде случаев объяснены произошедшим ранее совпадением $\overset{\text{v}}{a}$ и $\overset{\text{v}}{o}$ (ср. изменение $\overset{\text{v}}{e}$ в $\overset{\text{v}}{e}$, приведшее к созданию новой четырехугольной системы долгих гласных, и т. д.). Симметричность и внутренняя законченность этой системы лишают нас возможности восстановить еще более раннее состояние путем внутренней реконструкции. Вместе с тем мы не считаем, что совпадению $\overset{\text{v}}{a}$ и $\overset{\text{v}}{o}$ не могли предшествовать какие-либо другие процессы, носившие еще праславянский характер. Поэтому предлагаемая модель вокализма должна рассматриваться только как предел того, что может быть достигнуто посредством внутренней реконструкции. Данные других индоевропейских языков дают основания предполагать еще некоторые более ранние процессы в области вокализма и установить еще более древнюю модель, значительно отличающуюся от приведенной выше (в этой более древней индоевропейской системе из числа указанных выше фонем в качестве гласных функционировали только $\overset{\text{v}}{e}$ и $\overset{\text{v}}{o}$ краткие). Однако

мы считаем неправомерным при решении поставленной нами задачи идти глубже того, что может быть достигнуто с помощью метода внутренней реконструкции, так как в противном случае мы могли бы приписать праславянскому языку такие процессы и такую модель гласных, которая в действительности принадлежала периоду, предшествующему праславянскому. Поэтому для сравнения с балтийскими языками приходится пользоваться приведенной выше моделью.

При реконструкции праславянского вокализма мы исходили из фактически недифференцированного в диалектном отношении материала и, опираясь на наличие известных общих тенденций, последовательно снимали напластования разных эпох. Для балтийских же языков не оказывается возможным в такой степени, как для славянских, установить единую общую тенденцию, которая позволила бы последовательно приближаться к модели древнейшего состояния путем отсечения позднейших процессов. При анализе балтийского вокализма приходится опираться прежде всего на значительную дифференциацию диалектов, отражающую во многих случаях различные хронологические периоды в истории балтийских языков и индоевропейских диалектов, предшествующих им. Если для праславянского совпадение \bar{a} и \bar{o} долгих (наряду с краткими) явилось исходным пунктом прослеживаемой эволюции и пределом возможной реконструкции, то в балтийских языках состояние, предшествовавшее аналогичному процессу, непосредственно отражено в современных говорах (иногда в пределах одного языка). Исключив явно более поздние новообразования (например, специфическое для балтийских языков \acute{e} , развившееся из \bar{e} долгого), свойственные к тому же в некоторых случаях только части балтийских языков (например, изменение дифтонгов типа * ei в восточнобалтийском, изменение \bar{o} долгого), мы сразу же приходим к модели треугольника гласных:



Так же, как и по отношению к модели праславянского вокализма, мы не считаем, что эта модель действительно является древнейшей и что не было чистобалтийских процессов, предшествовавших ее возникновению. По изложенным выше соображениям мы не считаем возможным использовать данные других индоевропейских языков для заполнения пробела между этой моделью и моделью индоевропейского вокализма. Установленные выше балтийская и славянская модели являются тождественными (так же как и исходная индоевропейская модель) для обеих групп, но из этого не следует, что этот пробел обязательно должен быть заполнен рядом одинаковых для обеих групп состояний и процессов. Поэтому тождество моделей гласных не предрешает еще ответа на вопрос о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. Вследствие крайне ограниченного количества элементов и еще более ограниченных возможностей их комбинаций в системе (в силу ограничений, накладываемых физиологическими факторами и структурой самой системы) в языках с небольшим числом гласных фонем, для противопоставления которых используется еще более ограниченное число дифференциальных признаков, совпадение моделей гласных имеет малую доказательную силу для решения вопроса об отношениях между языками. Это усугубляется и тем, что некоторые однотипные процессы (совпадение \bar{a} и \bar{o} кратких и долгих, специфическое развитие \bar{e} долгого, в некоторой степени развитие дифтонгов) могли осуществиться параллельно в ряде языков, что и подтверждается некоторыми сходными фактами германских языков, на которых говорили в территориально близкой области. Следует подчеркнуть, что с фонологической точки зрения существенным является совпадение a и o в одной фонеме независимо от ее фонетической характеристики; вместе с тем можно предположить, что и в славянских языках фонема, в которой совпали \bar{a} и \bar{o} долгие, могла быть \bar{o} долгим, впоследствии давшим \bar{a} долгое (так как лабиализация могла быть фонологически несущественной, поскольку противопоставление гласным переднего ряда осуществлялось и по другим признакам). Факты отдельных групп показывают, что совпадение o и a происходило в каждой из этих групп в период их самостоятельного развития, хотя этим и не исклю-

чается возможность географической связи между этими процессами в разных группах.

Система согласных фонем, восстанавливаемая на основе древнейших славянских памятников, характеризовалась обилием спирантов, противопоставлением по твердости — мягкости, наличием двух рядов смычных. Обилие спирантов легко может быть объяснено как результат целого ряда процессов, отражавших общие тенденции, о которых говорилось выше. Это объяснение может быть приложено и к возникновению противопоставления по твердости и мягкости, хотя здесь приходится считаться и с возможностью другого истолкования, предложенного Куриловичем. Это объяснение представляется вполне вероятным, и, в случае, если оно окажется правильным, оно позволит сопоставить славянские факты с соответствующими явлениями в других индоевропейских языках. С другой стороны, подобное объяснение отрывало бы отмеченные явления от других процессов палатализации, осуществлявшихся в праславянском языке в более поздний период и связанных с общей тенденцией к большей взаимозависимости элементов слога. Кроме того, хотя теория Куриловича весьма существенна для исследования процессов, протекавших в праславянском языке, она тем не менее не может доказать, что для древнейшего периода праславянского языка следует предполагать особые палатальные фонемы p' , v' и т. д. Поэтому, сняв результаты позднейших процессов, мы приходим к такой системе, в которой несомненно имелись сонанты ζ , i , r , l , n , m , смычные p , b , t , d , k , g , противопоставленные по глухости — звонкости, и три фонемы, системные отношения которых по-разному определялись для двух различных периодов. Для более поздней эпохи речь идет о трех спирантах: s и z , противопоставленных по глухости — звонкости, и x , лишенном звонкого партнера (что повело к дальнейшим изменениям системы согласных фонем). Для более раннего периода можно говорить о трех фонемах, две из которых противопоставлены k и g (это противопоставление является несомненным на уровне фонем, хотя и не может быть точно определено в терминах дифференциальных признаков), а третья была спирантом уже в эту эпоху. Различие между двумя периодами состоит не только в месте трех фонем в системе, но и

в их количественном распределении. Статистическая характеристика распределения фонем для предельных (минимального и максимального) случаев имеет особое значение, так как она указывает на направление движения системы. При анализе распределения *x* в праславянском для древнейшей эпохи можно исключить случаи «символического» употребления *x* в качестве изобразительного средства и заимствования из германских и иранских языков (мы здесь не говорим о возведении *x* к *kh*, так как гипотеза о существовании индоевропейских глухих придыхательных в настоящее время должна быть признана несостоятельной). Оставшиеся случаи употребления *x* крайне немногочисленны и обусловлены определенными позициями. Это ставит *x* в совершенно особое положение по сравнению с другими звуками, что и объясняет возможность использования *x* в качестве изобразительного средства. Эти факты указывают на относительно позднюю дату фонологизации *x*, которое до этого в фонологическом плане должно рассматриваться как вариант фонемы *s*. Поэтому в качестве модели праславянского консонантизма в древнейшую эпоху мы выбираем наиболее раннюю из двух указанных систем. Остается добавить, что в этой модели указанная фонема, противопоставленная *k*, не смешивалась с фонемой *s*, имевшей вариант *x*.

По тем же причинам, по которым при установлении модели праславянского вокализма мы ограничивались результатами внутренней реконструкции, мы не считаем возможным привлечь данные других индоевропейских языков, которые позволили бы установить более древнюю систему согласных, характеризовавшуюся наличием третьего ряда смычных, ларингальных и, возможно, другими соотношениями заднеязычных. Хронологическая соотнесенность этой более древней системы с праславянским периодом остается неясной.

Как и в области вокализма, для установления древнейшей модели балтийского консонантизма основное значение имеют диалектные данные, позволяющие исключить все те фонемы, которые явились результатом палатализационных процессов, и прийти к картине, аналогичной той, которая была установлена для древнейшего периода праславянского. Сходство простирается не только на состав фонем и их отношения в системе, но и на пози-

ционно обусловленные варианты в праславянском и в балтийских диалектах. Мы имеем в виду особый вариант *s* в известных позициях. Распределение этого варианта в балтийских диалектах было количественно более ограничено, чем в праславянском, т. к. он встречался в меньшем количестве позиций, причем остается неясным, насколько полно данный вариант был представлен во всех балтийских диалектах. С этим было связано то, что в праславянском данная звуковая единица использовалась в морфологических элементах (причем иногда там, где она не была фонетически обусловлена), тогда как в балтийских диалектах распределение этого варианта было дополнительно ограничено тем, что он использовался только в лексических морфемах, но не в грамматических (даже, когда он был фонетически закономерен, он заменялся основным вариантом *s*). По этим причинам данный вариант в балтийских диалектах не развился в самостоятельную фонему в отличие от праславянского, где возникновение фонемы *x* было первым шагом к появлению системы, отличной от балтийской. Можно отметить, что появление такого варианта *s* в сходных позициях объединяет праславянский и балтийские диалекты с индоиранскими диалектами (ср. отражение подобного варианта *s* в других восточных индоевропейских языках — греческом, азиатических). В связи с этим обращает на себя внимание то, что в восточной индоевропейской области также наблюдается широкое развитие спирантов, характерное для позднейших эпох развития праславянского и балтийских диалектов. Несколько различные диалектные связи процессов, наблюдающихся в вокализме и консонантизме славянских и балтийских диалектов (совпадение *a* и *o* и развитие *s*), могут быть истолкованы как косвенное свидетельство хронологического несовпадения восстанавливаемых систем гласных и согласных.

Установленные порознь модели вокализма и консонантизма являются сами по себе внутренне непротиворечивыми. Что же касается возможности их объединения в общую фонологическую модель, то к этому можно подойти лишь в очень ограниченной степени при условии существования некоторых узлов, в которых скрещиваются отдельные элементы обеих моделей. Для указанных двух схем таким узлом являются связи сонорных *ц*, *і* с глас-

ными *u*, *i*. Путем простого соположения двух моделей можно получить ряд *u*, *i*, *ǫ*, *ĩ*, *ũ*, *ĩ*, который представляется неудовлетворительным как по соображениям общefonологическим, так и потому, что интонационные факты свидетельствуют, как будто, в пользу интерпретации дифтонгов как сочетаний простых гласных с *i* и *u*, которые в этих случаях следует считать вариантами гласных фонем *ĩ* и *ũ*. Даже если бы на данном участке две модели можно было бы совместить, из этого нельзя было бы сделать вывод о совместимости всех частей моделей — хотя бы потому, что если *ĩ* и *ũ* прочно связаны с остальными членами модели вокализма, то *i* и *u*, включенные в модель консонантизма по требованиям внутренней реконструкции, никак не связаны с остальными членами этой модели. По этим соображениям при изображении фонологической системы в целом *i* и *u* целесообразно рассматривать только как элементы подсистемы гласных. Но и эта поправка не решает вопроса о хронологической совместимости данных моделей (хотя мы и считаем, что это является наименьшим из возможных зол). Представляется, что некоторые дополнительные данные для решения этого вопроса могли бы быть извлечены при исследовании возможностей комбинации элементов системы гласных и элементов системы согласных в пределах одной и той же реконструируемой морфемы.

Для характеристики фонологической модели древнейших состояний важно знать не только состав фонем и их отношения в системе (и, насколько это возможно, в тексте), но и акцентологические особенности, тем более, что они связаны как с собственно фонологическим, так и с морфологическим планом. Акцентологические системы и процессы, приведшие к ним, в славянских языках отличаются большим разнообразием, причем эти системы непосредственно не сводятся к единому источнику, который лежал бы в том относительно позднем периоде истории праславянского языка, с которого мы начинали реконструкцию вокализма и консонантизма. Обилие акцентологических процессов в истории отдельных диалектов позволяет отнести этот единый источник к достаточно древнему периоду. Разнородность акцентологических фактов славянских языков, не позволяющая проецировать их непосредственно в доисторическое прошлое и дающая

большую перспективу во времени, очень напоминает соответствующую картину в балтийских языках. Благодаря работам Куриловича, использовавшего метод внутренней реконструкции и давшего последовательный анализ более поздних процессов, древнейшую систему, общую балтийским и славянским языкам, можно представить себе в следующем виде: в начальном слоге было возможно противопоставление двух интонаций, в срединных слогах был возможен фонетический акут, тогда как конец слова был местом нейтрализации. Не прибегая к сравнению с другими индоевропейскими языками, происхождение этой системы можно объяснить регрессивным передвижением ударения, что создало условия для позднейшей фонологизации интонационных различий. Таким образом, мы приходим к периоду, когда фонологическими можно считать не интонационные различия, а противопоставление по долготе и краткости. Так же как и при установлении модели вокализма, мы не прибегаем к данным других индоевропейских языков для объяснения происхождения долгот в духе ларингальной теории. Развитие описанной системы, общей для балтийских и славянских языков, характеризовалось рядом общих новообразований, часть которых была одинаково использована в морфологическом плане. Это общее развитие продолжалось до возникновения собственно балтийских и собственно славянских явлений. Все это позволяет считать данные акцентологической системы балтийских и славянских языков особенно доказательными, поскольку здесь можно не только отождествить модели синхронных состояний, но и совместить целые периоды, заполненные одинаковыми причинно связанными процессами, затрагивавшими разные стороны системы. В этом глубокое отличие между тождеством акцентологических систем, бесспорно совместимых во временном плане, и условной возможностью отождествления моделей балтийского и праславянского вокализма и консонантизма, отношение которых во времени остается неизвестным.

При установлении морфологической модели важно отделиться от предвзятых мнений, которые были навязаны исследователям балтийских и славянских языков традиционной индоевропеистикой. Именно поэтому в балтийских и славянских языках обычно искали потери, а не

приобретения, и простейшему объяснению предпочтательнее более сложное, исходящее из наличия в индоевропейском многочисленных форм. Между тем, даже если исходить из фактов других индоевропейских языков, такой подход является неверным, так как он основан на проецировании фактов древнеиндийской и греческой грамматики в индоевропейское состояние. Новые факты, ставшие известными в XX в., существенно изменили понимание индоевропейской морфологической системы и тем самым потребовали пересмотра сложившихся представлений об эволюции этой системы в отдельных языках с большим учетом данных, извлекаемых из самих этих языков. В этом отношении особенно показательна история падежной системы славянских и балтийских языков.

Славянская падежная система эпохи древнейших памятников состоит из семи падежей, различие между которыми может нейтрализоваться в зависимости от основы, числа и т. д. Анализ флексий, их распределения по разным типам основ, падежных функций, случаев нейтрализации позволяет проникнуть в предшествующее состояние славянской падежной системы. Так, например, при анализе флексии локатива обращает на себя внимание то, что в ряде основ локатив не имеет самостоятельного окончания и смешивается с дательным падежом или имеет окончание, которое заставляет предполагать известное сходство с флексией дательного падежа; в двойственном числе локатив вообще не имеет самостоятельной формы, а во множественном различие между формами локатива основ на *-o* и *-ā* может быть истолковано как свидетельство одновременности этих форм (ср. предшествующее падежному окончанию *-ā* в основах на *-ā* и *-oi* в основах на *-o*). Гипотеза о позднем происхождении локатива, которая может опираться на указанные факты, подтверждается анализом самих флексий в их распределении по основам (ср. тип *katene*, где предполагается сочетание чистой основы с послелогом, и форму чистой основы с полной ступенью в основах на *-u* и *-i*, с одной стороны, и формы со специфическим локативным показателем *-i*, распространившиеся в хронологически более поздних типах основ на *-o* и *-ā*, с другой стороны). Поэтому можно считать, что в древнейший период развития праславянского

языка особая форма местного падежа отсутствовала и в сходной функции употреблялась чистая основа.

Ряд рассуждений, сходных по своему характеру с теми, которые были выше проведены на материале славянских языков, позволяет сделать вывод о том, что и в балтийских диалектах локатив возник относительно поздно и, более того, не получил полного развития. Эти выводы еще более подтверждаются при анализе фактов, специфических для балтийских языков. Здесь, как и в ряде предыдущих случаев, обращают на себя внимание значительные диалектные различия в балтийской языковой области. В прусском языке локатив вообще отсутствует. В восточнобалтийских диалектах формы на *-e*, которые выступают в локативной функции, объясняются сочетанием с тем же послелогом, что и в славянском, с тем отличием, что это явление в балтийских диалектах встречается и в более продуктивных основах. Поэтому, если ограниченность распределения этого типа, встречающегося лишь в согласных основах, позволяет считать его архаизмом для славянских языков, то в восточнобалтийских диалектах его можно рассматривать как новообразование.

Обратная картина обнаруживается в отношении флексии *-ie* (из **-ei*) по сравнению с соответствующей славянской флексией. В балтийских диалектах флексия *-ie* встречается в немногих изолированных формах наречного типа, тогда как в славянских языках такая форма распространилась на большинство типов основ и стала парадигматической. Но эти балтийские и славянские формы не показательны для решения вопроса о локативе, так как они восходят к древней форме, имевшей более широкие функции (об этом речь будет идти ниже, в связи с анализом дательного падежа). В восточнобалтийских диалектах развился ряд форм с локативной (в широком смысле слова) функцией (с элементами *-n*, *-p*). Структура этих форм (в которых специфическому локативному элементу могут предшествовать различные флексии) с несомненностью свидетельствует об их позднем происхождении; напрашивается сопоставление с типологически близкими формами в финно-угорских языках. Особый интерес представляет образование локатива множественного числа в восточнобалтийском. В отличие от праславянского, где флексия, восходящая к **-su*, не может быть анализирована

ЭОБЭЭ

с помощью только славянских фактов, в восточнобалтийских диалектах мы находим ряд сильно отличающихся друг от друга форм, позволяющих установить вторичность элемента, следующего за *-s-*. В этом отношении расхождения между отдельными литовскими диалектами столь же значительны и дают основание для столь же глубоких реконструкций, как различия между целыми группами индоевропейских языков.

Славянские и балтийские данные, свидетельствующие об отсутствии локатива в древнейшую пору развития этих языков и о его позднейшем образовании, подкрепляются многочисленными фактами других индоевропейских языков. Эти факты свидетельствуют о том, что для разных индоевропейских диалектов характерны не только отсутствие специальных форм локатива и употребление чистой основы в локативной функции, но и некоторые сходные способы образования позднейших особых форм локатива и даже отдельные материальные элементы, из которых они образовывались (ср., например, послелог **en* в славянских, балтийских, тохарских и италийских диалектах). Сходная картина, обнаруживаемая при изучении локатива в славянских и балтийских языках, не может быть использована для непосредственного доказательства близости этих языков, так как речь идет о негативном выводе, основанном на исключении однотипных позднейших явлений. Но если подходить к вопросу о древнейших отношениях славянских и балтийских языков так, как это предлагается в настоящем докладе, то существенно исключение локатива из модели древнейших падежных систем как в славянских языках, так и в балтийских.

Выше мы уже говорили о полном или частичном различении форм локатива и дательного падежа. Выводы, сделанные из этого при исследовании локатива, могут быть применены и к дательному падежу. Если не считать незначительных и легко объяснимых исключений, то самостоятельные формы дательного падежа в балтийских и славянских языках встречаются в тех же хронологически более поздних типах основ, в которых имеются самостоятельные формы локатива. Но и в этих типах основ можно установить определенную связь между флексиями двух данных падежей, заставляющую предполагать для

них единый источник. Структурное сопоставление флексий этих падежей позволяет предположить, что форма дательного падежа была включена в парадигму склонения раньше, чем форма локатива; поэтому исключение этой формы из древнейшей модели не может быть осуществлено с такой же легкостью. Наиболее архаичной из форм, выступающих в балтийских и славянских языках в функции дательного падежа и локатива, следует признать форму на **-ei*. Древность подобного употребления этой формы подтверждается другими индоевропейскими языками (в том числе и хеттским). Вместе с тем как в некоторых случаях в славянских и балтийских языках, так и в других индоевропейских можно предполагать первоначальное тождество показателя **-ei/*-i* в данных формах и такой же морфемы в форме чистой основы имен на *-i*. Особенно характерно то, что у имен с основой на *-i* отсутствуют именно эти формы дательного и местного падежей, причем в их функции может выступать чистая основа. Вопросы хронологии остаются неясными, но, учитывая наличие в балтийских и славянских языках некоторых указаний на более древнее состояние, мы все же считаем возможным исключить падежные формы на **-ei/*-i* из парадигмы склонения, но оставить их в общей грамматической модели в качестве форм полунаречного типа, часто приближающихся к падежным (ср. положение форм на **-bhi* в доисторической системе диалектов греческо-индоиранской области).

К числу подобных промежуточных форм полунаречного типа могут быть отнесены и те, которые впоследствии дали формы инструментального падежа. Об этом свидетельствует разнородный характер образования этих форм в зависимости от основ, типологически сходный с отмеченными выше особенностями локатива. В балтийских языках во всех основах, кроме основ на *-ā* и *-o*, представлена наречная форма на *-mi*. Эта форма на *-mi* употреблялась и во множественном числе, где к ней позднее был присоединен показатель множественности *-s*, ср. в других индоевропейских диалектах формы на *-bhi* и функционально тождественные хеттские падежные формы. В славянских языках *-mi* распространено во всех этих основах, а также и в основах на *-o*. Самостоятельная флексия была выработана только в хронологически более поздних основах

на *-ā* и *-o* в балтийских языках и в основах на *-ā* в славянских языках, но и здесь эта флексия либо связана с окончаниями других падежей, либо представляет собою сочетание имени с частицей. Для предполагаемого общепалтийского состояния эти формы не могут быть реконструированы с достаточной определенностью, так как они достоверно представлены только в литовском, отсутствуют в прусском и не получили развития в латышском. Что же касается славянских форм инструментального падежа множественного числа на *-y*, мы не считаем возможным делать на основании таких форм сколько-нибудь далеко идущие выводы, так как, во-первых, их общепринятое чисто фонетическое объяснение не представляется убедительным, во-вторых, исходя из наших общих принципов, мы не можем непосредственно перейти от формы на *-y* к флексии, не извлекаемой из самих славянских данных, а навязываемой только сравнением с другими языками, в-третьих, какое бы объяснение этой формы ни оказалось правильным, оно с неизбежностью влекло бы либо к признанию связи с формой другого падежа, либо к допущению сочетания с частицей, о чем и говорилось выше по поводу форм основ на *-o* и на *-ā*.

Во всех рассмотренных выше падежных формах различие между двумя хронологическими типами основ заключалось в том, что основы более архаичного типа позднее вовлекались в круг употребления этих форм и сохраняли явные следы первоначального наречного образования. Иную картину представляют формы родительного падежа. Здесь именно в хронологически древнейших основах сохраняется единообразная самостоятельная флексия, тогда как в более поздних основах имеются другие формы, по-видимому, более позднего происхождения (и, возможно, связанные с первоначальными непарадигматическими образованиями). При этом (так же как и в ряде разобранных выше случаев) наблюдается различие между прусским и восточнобалтийскими языками, типологически сходное с различиями между целыми группами индоевропейских диалектов, ср. прусское окончание на *-s*, с одной стороны, и формы на *-o* в литовском и на *-a* в латышском, с другой стороны. По своей структуре эти восточнобалтийские формы напоминают славянские, несмотря на некоторые расхождения в деталях, которые

затрудняют их непосредственное отождествление. Связь этих форм с формами, развившимися в аблятив в некоторых индоевропейских языках, представляется возможной, но вместе с тем следует подчеркнуть, что мы не в праве реконструировать аблятив для древнейшего состояния балтийских и славянских языков, во-первых, вследствие отсутствия каких-либо внутренних данных в самих этих языках, во-вторых, потому, что в настоящее время сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков позволяет исключить аблятив из числа общеиндоевропейских падежей. Что касается славянских форм родительного падежа основ на $-\bar{a}$, мы не считаем возможным использовать их для реконструкции древнейшего состояния по тем же причинам, о которых говорилось выше в связи с формой инструментального падежа на $-y$.

Более поздний тип образования форм родительного падежа в основах на $-o$ наблюдается не только в балтийских и славянских, но и в других индоевропейских языках, причем эти формы складывались по-разному в различных диалектных группах (ср. формы на $-\bar{i}$ и на $-sio$). Особенности истории родительного падежа в индоевропейских языках можно объяснить тем, что этот падеж, сохраняясь в качестве самостоятельного элемента в падежной системе, в то же время изменял свое положение в этой системе. В более древнюю эпоху родительный падеж сохранял связь с активным падежом, к которому он генетически восходит; эта эпоха отражена в тех формах родительного падежа, которые в балтийских и славянских языках сохранились в наиболее архаичных типах основ. В последующую эпоху, характеризующуюся развитием тематических основ и локальных падежей, формировавшихся из наречных образований, родительный падеж стал соотноситься именно с этими новыми падежами, что могло, в частности, отразиться на связи форм родительного падежа тематических основ с наречными формами, позднее давшими аблятив.

Формы именительного и винительного падежей хорошо засвидетельствованы во всех типах основ в балтийских и славянских языках и могут быть с уверенностью возведены к древнейшему состоянию этих языков. В то же время здесь отсутствуют такие указания, которые по-

зволюют для общеиндоевропейского идти еще дальше вглубь и предположить противопоставление активного и пассивного падежей или даже наличие следов дофлективного состояния. Поскольку в балтийском и славянском именительный и винительный падежи выступают как таковые, в этом можно видеть существенное отличие от общеиндоевропейской морфологической модели.

Таким образом, для древнейшего состояния балтийских и славянских языков мы приходим к модели форм имени существительного в единственном числе, состоящей из парадигматических форм именительного, винительного и родительного падежей и примыкающих к ним полунаречных форм с широким кругом значений, которые впоследствии послужили базой для образования новых падежей. К числу таких полунаречных форм относились, например, чистая основа, формы на *-i*, формы на *-mi*, и т. п.

Для того же состояния балтийских и славянских языков можно с уверенностью говорить о наличии множественного числа, формы которого хранят следы несомненной связи с формами единственного числа. Принцип образования форм множественного числа посредством присоединения показателя множественности *-s* к окончаниям единственного числа, наблюдаемый в винительном падеже, действовал в течение длительной эпохи формирования косвенных падежей, позднее вовлекавшихся в парадигму. Иное образование родительного падежа может быть связано с тем, что он первоначально не был формой множественного числа и лишь позднее был включен в парадигму множественного числа (ср. хеттские формы родительного падежа единственного и множественного числа на *-an* (* *-ōm*). О неполноте парадигмы множественного числа свидетельствует также отсутствие специальных форм множественного числа в среднем роде.

Характерной особенностью древнейших моделей балтийских и славянских языков является четкое выражение двойственного числа как особой морфологической категории (в отличие от словообразовательного характера индоевропейских форм двойственного числа). Между древнейшими балтийскими и славянскими формами двойственного числа наблюдается значительное сходство не только в распределении форм по группам (что находит типологи-

ческие параллели и в других индоевропейских языках), но и в элементах, из которых впоследствии развились соответствующие окончания. Поскольку сами эти элементы можно считать относительно более поздними, то возникает возможность совмещения целых периодов развития балтийских и славянских языков. Что же касается прусского языка, то на основании его данных здесь (как и в ряде других случаев) нельзя сделать сколько-нибудь определенных выводов.

Для реконструкции истории системы родов, данные прусского языка, напротив, оказываются особенно важными, так как они не только указывают на наличие в древнейшем состоянии балтийских языков среднего рода, утраченного в восточнобалтийских, но и позволяют определить некоторые пути преобразования трехродовой системы. О наличии среднего рода в древнейших моделях балтийских и славянских языков свидетельствуют как факты прусского и славянских языков, так и некоторые общие соображения структурного характера, которые с необходимостью заставляют вывести современную восточнобалтийскую двухродовую систему из более древней трехродовой. Для древнейших моделей балтийских и славянских языков характерно последовательное соотношение противопоставления мужского и женского родов с противопоставлением хронологически более поздних основ на *-o* и на *-ā*. В этом заключается отличие не только от общеиндоевропейской модели с противопоставлением активного и пассивного родов, но и от моделей ряда других индоевропейских языков, в которых уже возникшее различие мужского и женского родов не получило столь четкого выражения. Преобразование трехродовой системы в двухродовую в восточнобалтийском может быть связано именно с четкостью различия мужского и женского родов, сделавшим избыточным средний род; это преобразование системы в восточнобалтийском позволяет отнести исходный пункт развития достаточно далеко.

Приблизительно к той же эпохе, в которую происходит четкая дифференциация мужского и женского родов, относится и формирование прилагательных как особого класса слов. В балтийских и славянских языках для специфического оформления этого класса позднее были использованы средства, относившиеся первоначально

к области синтаксиса; поэтому здесь мы их специально не рассматриваем.

Что касается местоимений, то здесь, по-видимому, модель в принятом нами смысле не может быть установлена с достаточной полнотой. Это связано и с тем, что многие факты, относящиеся к местоимениям, носят лексический характер, между тем сведение лексических явлений к модели в настоящее время едва ли представляется возможным. Вместе с тем многие категории, восстанавливаемые для местоимений, совпадают с категориями других классов слов, с которыми пересекаются местоимения. Поэтому категории местоимений могут быть использованы для частичного хронологического совмещения восстановленных систем имени и глагола. В этой связи можно отметить, например, то, что для личных местоимений в балтийских и славянских языках можно реконструировать только формы первого и второго лица (как и для общиндоевропейского). В функции форм третьего лица позднее стали употребляться указательные местоимения, образовавшие целые серии слов, совпадающих в балтийских и славянских языках по форме и, возможно, входивших некогда в коррелятивные группы, функции которых не вполне ясны, так как они были изменены уже к эпохе создания письменных памятников. Среди этих слов особенно следует отметить указательное местоимение **io-*, сходно употребляющееся в балтийских и славянских языках (в отличие от большинства других индоевропейских языков), в том числе в тех сочетаниях с прилагательными, которые упоминались выше.

Если при установлении модели имени мы должны были опираться на результаты анализа флексий, которые представляют собой важнейшее средство для реконструкции падежной системы, то по отношению к глаголу такой подход не может принести существенных результатов. В то время, как модель имени определяется падежными отношениями, глагольная модель не может быть построена путем анализа личных окончаний глагола, поскольку соотношение лиц не является категорией, присущей данной языковой системе, и основано на структуре акта речевой коммуникации. Это, разумеется, не означает, что мы вообще не можем использовать данные глагольных окончаний для установления системных отношений, но

само это использование осуществляется в плане, отличном от анализа системы имени: оно предполагает не исследование соотношения личных окончаний в пределах парадигмы, а сравнение окончаний одного и того же лица в разных временных категориях.

Мы считаем, что при установлении древнейшей модели глагола в балтийских и славянских языках нужно исходить из соотношения времен. Для периода древнейших славянских текстов глагол характеризуется не только временной системой, но и видовой системой, роль которой возрастает на протяжении истории славянских языков. С нашей точки зрения нецелесообразно брать видовую систему в качестве основы для модели глагола, так как эта система сложилась в относительно поздний период. Об этом свидетельствует известная незавершенность системы, проявляющаяся, в частности, в наличии ряда исключений как внутри одного языка, так и в общеславянском плане. Если учесть также сказывающуюся на протяжении истории всех славянских языков тенденцию к превращению вида в наиболее универсальную категорию глагола, можно прийти к выводу, что эта категория является поздним результатом длительного развития. Поэтому эту категорию в той форме, как она представлена в языке древнейших славянских текстов, нельзя сравнивать непосредственно с отчасти сходными фактами балтийских языков, поскольку видовые значения в балтийских языках продолжают соответствующие значения разных типов индоевропейских глагольных основ. Аналогичные типы глагольных основ могут быть реконструированы и для более древнего состояния славянских языков, но в настоящем докладе мы не считаем целесообразным останавливаться на этом вопросе, так как балтийские и славянские факты в этой области совпадают с индоевропейскими и по существу не представляют ничего специфического. Эти типы глагольных основ сохраняются даже в столь далеко разошедшихся языках, как современные балтийские и современные славянские, что свидетельствует о малой доказательности таких явлений, сопрягающихся с лексическими (в равной мере это относится и к именным основам, которые мы по той же причине исключили из числа рассматриваемых в докладе явлений). Различия между балтийскими и славянскими

типами глагольных основ сводятся в основном к чисто количественным отношениям, которые не могут быть учтены в структурных моделях. В тех случаях, когда в балтийских и славянских языках имеются отличные от других индоевропейских общие черты, связанные с выражением видовых значений, они для древнейшего состояния должны рассматриваться как синтаксические и поэтому могут не учитываться при установлении морфологической модели. Мы имеем в виду такие факты, как приставочные глаголы (в частности, с приставкой *po-*), о которых будет сказано ниже, в разделе, посвященном синтаксису.

Глагольная система периода древнейших славянских письменных текстов представляла собой довольно неэкономную и неупорядоченную совокупность видовых и временных форм. Временные формы аориста и имперфекта использовались также, хотя и непоследовательно, для выражения видовых различий, соотносясь соответственно с совершенным и несовершенным видом. Соотнесение видовых различий с противопоставлением настоящего и будущего времени не проводилось последовательно, в отличие от современных славянских языков. Временная система характеризовалась наличием многочисленных времен, нечетко дифференцированных по употреблению: настоящего (недостаточно ясно противопоставленного будущему), аориста, имперфекта, перфекта и плюсквамперфекта. Отсутствию спаянности различных времен способствовало также и то, что они не противопоставлялись друг другу по одному общему принципу и были связаны между собой рядом разнородных отношений. Для перфекта и плюсквамперфекта существенным было отношение предшествования; противопоставление аорист — имперфект и настоящее — будущее к указанному периоду приобрело преимущественно видовой характер; остается неясным характер противопоставления настоящего времени прошедшим временам. Сеть видовых различий никогда точно не накладывалась на всю систему времен в целом, в результате чего отсутствовал строгий параллелизм и закономерность связей между временными и видовыми категориями.

Нестойкость этой видо-временной системы в том виде, как она представлена в древнейших памятниках, под-

тверждается ее дальнейшей историей в отдельных славянских языках. В самом деле, в большинстве славянских языков вскоре исчезают категории аориста и имперфекта. Там же, где они остаются, они обычно оттесняются на периферию глагольной системы и чаще всего выступают не в тех функциях, которые были им присущи раньше, причем они используются либо в определенных стилистических целях, либо для выражения некоторых новых категорий. Еще быстрее исчезает плюсквамперфект, который и в более раннее время оставался нерегулярным образованием, сохранявшим характер синтаксической конструкции с более узкой сферой употребления. Перфект становится основной формой прошедшего времени во всех славянских языках, причем в большинстве языков — единственной. Видовая дифференциация глаголов и их форм становится более последовательной.

Анализ глагольной системы эпохи древнейших текстов и тенденции развития этой системы в историческое время позволяют сделать вывод об очень позднем характере этой системы (сравнительно с праславянскими явлениями). При установлении более древнего состояния приходится сразу же исключить плюсквамперфект. Поскольку мы рассматриваем здесь морфологическую модель глагола, на тех же основаниях из нее могут быть исключены формы перфекта, которые для более древнего периода можно считать синтаксическими сочетаниями. Что касается формы *vědě*, то на основании принятых в докладе принципов внутренней реконструкции она не может найти места в нашей модели. Хотя ее глубокая древность не вызывает сомнений, остается неясным, в какой мере на основании единичной формы можно реконструировать особый морфологический тип для праславянского.

Поскольку вид мы рассматриваем как категорию, сформировавшуюся в поздний период, на этом основании, во-первых, можно пренебречь для праславянской модели противопоставлением настоящего и будущего времени в том плане, как оно представлено в исторический период (тем более, что для выражения будущего времени используются синтаксические сочетания, к которым для праславянского следует отнести не только сложные формы будущего времени, но и сочетания с пристав-

ками; вопрос о будущем времени на -s- будет рассмотрен ниже, в связи с другими сигматическими образованиями). Во-вторых, можно по-иному, чем для исторического периода, представить соотношение аориста и имперфекта как чисто временных категорий. Соотношение именно этих времен должно служить основным исходным пунктом на пути установления морфологической модели праславянского глагола.

Исследуя это соотношение на основании собственно славянских фактов, можно установить формальную связь между характеризующимися показателем -s- формами имперфекта и сигматического аориста. Поскольку вместе с тем существует и определенная семантическая общность этих категорий, можно предполагать, что между формами имперфекта и сигматического аориста имеется генетическая связь. На основании сказанного выше, а также на основании ряда других соображений, следует отдать решительное предпочтение гипотезе о происхождении -s- в имперфекте под влиянием форм сигматического аориста перед гипотезой о составном характере форм имперфекта. Поэтому для более раннего времени формы, предшествующие сигматическому имперфекту, восстанавливаются без элемента -s-. Однако и сигматический аорист, повлиявший на образование форм имперфекта, сам не является единственным типом аориста. На основании сравнения различных типов образования аориста нетрудно сделать вывод о том, что древнейшим из них является асигматический корневой аорист, послуживший затем базой для сигматических типов.

Поэтому следует признать, что в известную эпоху аорист был представлен только асигматическим корневым типом. Что же касается сигматических форм аориста, в них можно видеть отражение более древних глагольных форм на -s-, которые первоначально не были непосредственно связаны с функциями аориста ни в славянских, ни в других индоевропейских языках, и оставили по себе следы и в некоторых других образованиях, ср. единичные примеры, обычно интерпретирующиеся как остатки сигматического будущего времени. В конечном счете все сигматические глагольные формы генетически связаны с индоевропейскими основами на -s-, которые также находят отражение в славянских языках. То, что показана

тель *-s-* распространился первоначально в формах аориста и лишь потом через аорист в имперфекте, подтверждается как структурой самих форм, так и общеизвестной близостью форм сигматического аориста и форм настоящего времени основ на *-s-* от тех же глагольных корней. По этим же соображениям для морфологической модели праславянского языка мы не считаем возможным на основании метода внутренней реконструкции восстанавливать сигматический тип будущего времени.

Приняв, что сигматические формы аориста и имперфекта являются результатом новообразования, мы приходим к более простой картине, характеризующейся противопоставлением корневых форм (позднее развившихся в корневой аорист) и форм с особой приметой, из которой развивается впоследствии долгий гласный в формах имперфекта. Функции форм, образующих это противопоставление, остаются для более древней эпохи не вполне ясными. Поскольку корневой тип, к которому мы приходим при анализе корневого аориста, мог формально не отличаться от других корневых форм глагола, нельзя с уверенностью предполагать, что уже в древнейший период этот тип участвовал в противопоставлениях во временном плане. Более определенное место в древнейшей морфологической модели глагола занимают формы, позднее развивающиеся в имперфект, так как они положительно противопоставлены формам, позднее представленным в виде настоящего времени, т. е. являются отмеченными (маркированными). Однако и здесь нельзя с определенностью утверждать, что для указанной эпохи эти формы являлись временными.

Переходя к установлению морфологической модели балтийского глагола, следует прежде всего подчеркнуть ошибочность широко распространенной точки зрения, согласно которой глагольная система балтийских языков (в отличие от многих индоевропейских, в том числе славянских) характеризовалась утратой целого ряда форм и категорий, в первую очередь временных. В действительности балтийская глагольная система нуждается лишь в незначительных преобразованиях для того, чтобы прийти к древнейшему состоянию; направление этих преобразований достаточно ясно вытекает из рассмотрения состояния, засвидетельствованного диалектами и пись-

менными памятниками. Сразу же приходится исключить все те аналитические формы времени, которые с исторической точки зрения следует рассматривать как синтаксические сочетания. Категории перфекта и плюсквамперфекта мы не можем восстановить для древнейшего состояния балтийских языков как по указанной причине, так и ввиду отсутствия каких-либо данных для внутренней реконструкции. Индоевропейские глагольные формы, развившиеся в перфект в греческо-арийской диалектной области, не дают никаких оснований для реконструкции перфекта в балтийских (и славянских) языках (вопреки традиционному мнению), так как первоначальная природа этих форм является совершенно иной.

В балтийских языках сохранились некоторые формы с элементом *-s-*, которые некоторыми исследователями истолковывались как следы некогда существовавшего сигматического аориста. Однако на основании известных в настоящее время фактов можно считать, что аорист не являлся общеиндоевропейской категорией и развился лишь в части диалектов в определенный период. При этом в ряде случаев можно проследить отдельные звенья формирования сигматического аориста: начиная с использования *-s-* как основообразующего элемента и дальше, вплоть до превращения *-s-* (сначала лишь в некоторых лицах) во временную характеристику. Представляется, что указанные балтийские факты следует рассматривать как отражение промежуточного этапа, предшествовавшего превращению этих форм в регулярное образование, включенное в систему глагольных времен в качестве самостоятельного члена (ср. аналогичные промежуточные формы в тохарских, хеттском и некоторых других языках). Поэтому для доисторического состояния балтийских языков (как и некоторых других индоевропейских диалектов) мы предполагаем лишь наличие сигматических форм, которые при определенных условиях могли развиться в аорист, как это и случилось в ряде индоевропейских языков. То, что в балтийских языках развитие не пошло по этому пути, связано, во-первых, с сохранением жизнеспособности глагольных презентных основ на *-s-*, во-вторых, с использованием этого *-s-* для образования будущего времени. Это делает понятным различие между историей сигматических глагольных форм в балтийских

и славянских языках и позволяет в плане относительной хронологии определить начало расхождения между использованием сигматических форм в этих языках. Это расхождение начинается именно с возникновения в праславянском сигматического аориста, связанного с уменьшением числа глагольных основ настоящего времени на *-s-* и с забвением их первоначальной морфологической структуры (в частности, в результате фонетических процессов, которые в праславянском в этих глагольных формах осуществлялись последовательно, в отличие от балтийских языков, где *-s-*, использовавшееся в качестве морфологического элемента, не подвергалось действию фонетических законов). К указанному кругу явлений относится и то, что в праславянском не получило развития использование *-s-* как приметы будущего времени. В балтийских же языках (во всяком случае, в восточнобалтийских) сигматическое будущее время окончательно оформилось, но его оформление произошло в относительно поздний период, о чем свидетельствует как вторичность использования *-s-* в качестве временного показателя, так и данные прусского языка, где нельзя с уверенностью говорить об использовании *-s-* в качестве показателя времени, а не склонения (что находит параллели в других индоевропейских языках, сохраняющих следы деизидеративного значения *-s-*, позднее использовавшегося как примета особого склонения или будущего времени).

Следовательно, для древнейшего состояния балтийских языков мы приходим к модели, включающей формы настоящего времени и формы прошедшего времени, отраженные во всех балтийских языках, включая прусский (в данном случае нас интересуют лишь те прусские формы, которые совпадают с восточнобалтийскими). Это двучленное противопоставление соответствует тому, которое установлено выше для праславянского, причем это соответствие особенно показательное благодаря структурному сходству вторых членов противопоставлений. Именно эти члены характерны для балтийской и славянской моделей. Вместе с тем для балтийских языков это противопоставление явно реконструируется как временное. Определенность функций, восстановленных для балтийской модели (в отличие от славянской), объясняется различием в методах реконструкции: если к славянской мо-

дели мы пришли, снимая последовательно напластования разных эпох, то балтийская модель устанавливается путем доказательства древности части системы глагола, отраженной в современном состоянии.

Модели, установленные при анализе временных систем балтийского и славянского глагола, могут быть совмещены. Это совмещение особенно показательно, так как при нем оказывается одинаковым не только бинарное противопоставление, соответствующее данным ряда других индоевропейских языков, но и формальная примета второго члена противопоставления, специфичная только для балтийских и славянских языков. Что же касается первого члена противопоставления, то мы не считаем его форму столь же показательной, во-первых, ввиду наличия соответствий балтийским и славянским формам настоящего времени во всех индоевропейских языках, во-вторых, по общим соображениям, относящимся к истории этих форм в период, предшествующий балтийскому и славянскому. Для общеиндоевропейского противопоставление форм первого и второго типа, по-видимому, не должно рассматриваться во временном плане (ср. второй член указанного противопоставления и формы анатолийских языков на ларингальный, а также формы перфекта в греческо-арийской языковой области). Хотя данная балтославянская модель по своей структуре близка к индоевропейской, различия между этими моделями позволяют утверждать, что их разделяет определенный период времени.

Категория залога не включается нами в модель балтославянского глагола потому, что в историческую эпоху эта категория в балтийских и славянских языках выражается посредством присоединения элемента, сохраняющего следы своего самостоятельного существования в качестве возвратного местоимения. Синтаксический характер этого явления не позволяет учитывать его при установлении морфологической модели. Что же касается встречающихся в балтийских языках (особенно в прусском) примеров, формально соответствующих медиопассиву в греческом, древнеиндийском и некоторых других индоевропейских диалектах, то для балтийских языков не может быть установлено употребление этих форм в определенной залоговой функции. Более того, у нас нет никаких ос-

нований предполагать, что эти формы в балтийских и славянских языках когда-либо имели значение медиопассива, так как окончания типа *-māi* легко могли возникнуть в отдельных индоевропейских диалектах при наличии в более древнем состоянии двух серий окончаний типа *-mi* и типа **-no*, которые сами по себе не выражали залоговых отношений, хотя и послужили в некоторых диалектах для образования медиопассива (ср., например, связь хеттского медиопассива с формами на ларингальный, о которых говорилось выше). Следовательно, включение залога в модель глагола могло бы привести к внутренним противоречиям, так как одной и той же форме давались бы две интерпретации: как члену древнего бинарного противопоставления, о котором говорилось выше, и как залоговой форме.

Те наклонения, которые противопоставлены изъявительному в балтийских и славянских языках, носят следы более позднего происхождения: они выражались либо синтаксическими способами, либо такими морфологическими способами, которые соответствуют более поздним образцам; кроме того, в ряде случаев есть основания говорить о влиянии языков других групп. В некоторых случаях данная категория свойственна лишь отдельному языку и возникла на протяжении его самостоятельной истории. Поэтому мы не можем проецировать в достаточно древний период развития праславянского и балтийских языков эти наклонения, за исключением повелительного. Что же касается форм, соответствующих формам опатива в других языках, но используемых в балтийских и славянских языках в функции других наклонений, то на основании балтийских и славянских фактов их древнее значение не может быть определено; оно остается неясным и для индоевропейского состояния (в частности, потому, что в некоторых диалектах эти формы использовались не в модальной, а во временной функции). Таким образом, для древнейшего периода мы вправе предполагать лишь противопоставление двух форм, соответствующих позднейшим формам изъявительного и повелительного наклонения. Из многообразных форм повелительного наклонения в балтийских и славянских языках довольно легко выделить в качестве наиболее древнего типа форму чистой основы. Соотношение этой

формы с формами, которые позднее дают изъявительное наклонение, близко как в структурном, так и в функциональном плане к соотношению звательной формы, представленной чистой основой имени, с такими падежными формами, как именительный падеж. Особая природа повелительной формы глагола и звательной формы имени по сравнению с другими категориями определяется более тесной зависимостью от акта речевой коммуникации. Поэтому противопоставление повелительной формы формам изъявительного наклонения осуществляется в совсем ином плане, чем противопоставление других наклонений изъявительному (по сходной причине звательная форма имени не рассматривалась нами при установлении модели падежной системы). Следовательно, по отношению к той эпохе, для которой с уверенностью реконструируются лишь повелительные формы (но не формы других косвенных наклонений), об изъявительном наклонении как таковом говорить не приходится.

Установленные модели глагола и имени сами по себе не являются противоречивыми, но противоречие между этими двумя моделями может возникнуть в том случае, если они хронологически несовместимы. Поэтому было бы важно наметить некоторые промежуточные звенья между этими моделями. Для этого (наряду с исследованием местоимений, о которых в данной связи говорилось выше) существенным был бы анализ неличных форм глагола. Однако при современном состоянии наших знаний решение этого вопроса крайне осложняется неясностью хронологии вовлечения именных форм в систему глагола. Вместе с тем для хронологического совмещения моделей глагола и имени можно было бы многое извлечь из синтаксических данных, если бы удалось получить их для достаточно древнего периода.

Здесь не идет речь об установлении синтаксической модели для древнейших состояний балтийских и славянских языков в том смысле, как это делалось выше по отношению к фонологической и морфологической системам. При исследовании синтаксических явлений мы имеем дело не с парадигматическими соотношениями элементов, а с некоторыми типами их комбинаций в тексте. При этом такие синтаксические типы часто носят менее специфический характер (по сравнению с морфологи-

ческими), так как они определяются более общими законами и поэтому здесь на первый план выдвигаются соображения типологического порядка, сами по себе существенные, но не имеющие непосредственного отношения к теме настоящего доклада.

Тем не менее, обращение к синтаксису представляется весьма важным, потому что, во-первых, оно позволяет более точно определить состав морфологической модели путем последовательного исключения синтаксических явлений, что и было сделано выше, во-вторых, синтаксический анализ может дать некоторые указания относительно связей между разными частями морфологической модели. С наибольшей достоверностью могут быть реконструированы те синтаксические явления, которые отразились впоследствии в морфологических категориях.

Именно поэтому для известного периода истории балтийских и славянских языков мы не можем принять существование местоименных прилагательных, а должны предположить наличие сочетаний кратких прилагательных с местоимением *-io*, которое в еще более ранний период обладало полной независимостью, о чем свидетельствует, в частности, возможность его перемещения, отраженная в старолитовских текстах, а также некоторые особенности склонения местоименных прилагательных в тех же текстах и в литовских говорах. Это наше предположение подтверждается фактами древних индо-иранских языков, прежде всего авестийского. Соображения аналогичного порядка заставляют считать, что *ro-*, выступающее позднее в функции приставки в балтийских и славянских языках, в более древнюю эпоху было относительно свободным элементом наречного типа, связанным с глаголом в той же степени, что и с именем. Из этого следует, во-первых, то, что *ro-* в указанную эпоху не выражало видовых различий (ср. выше), во-вторых, то, что не только *ro-*, но и другие приставки первоначально являлись более свободными элементами, что и отражено в балтийских языках. Таким образом, весь этот класс слов может быть использован для установления связей между системой глагола до появления специфического балто-славянского выражения вида и системой имени до возникновения вторичных падежей на базе сочетаний с послелогоми.

Еще более очевидным является первоначальное свободное употребление возвратного местоимения, которое позднее в сочетаниях с глаголом послужило для образования форм залога. Об этом свидетельствуют не только балтийские факты, как в предшествующих случаях, но и данные славянских языков вплоть до настоящего времени. Это позволяет определить весьма позднее время образования этого способа выражения категории залога.

Подобное свободное употребление было характерно и для целого ряда «частиц» (в широком смысле слова); сюда относятся не только частицы типа **dhi* или литовского *-k*, употребляемые с формами императива, но и такие, функции которых неясны или значительно ослаблены. К этому же классу свободно употребляемых слов или частиц примыкали и местоименные энклитики. Наличие этого особого синтаксического класса характерно для древнейшего состояния балтийских и славянских языков, хотя и не отличает их от других индоевропейских диалектов. Сказанное справедливо и по отношению к позиции слов этого класса в предложении. Возможность реконструкции порядка слов особенно существенна, так как тем самым устанавливаются некоторые правила комбинации элементов в предложении, восходящие к общиндоевропейской эпохе.

В ряде случаев реконструируемые синтаксические явления могут восходить и к еще более глубокой древности. В частности, это относится к синтаксическим сочетаниям, отражаемым в сложных словах архаического типа, которые представлены в балтийских и славянских языках преимущественно в собственных именах. Реальность самостоятельного синтаксического употребления чистых основ, выступающих в сложных словах этого типа как во фрагментах предложения, подтверждается для древнейшего состояния балтийских и славянских языков указанными выше фактами, относящимися к локативу (и некоторым другим именным формам), к звательной форме имени и повелительной форме глагола. Поскольку для балтийского и славянского древнейшего состояния мы предполагаем наряду с флективными именными и глагольными формами возможность самостоятельного синтаксического употребления чистой основы, следует учи-

тывать вероятность более строгого порядка слов в этих случаях.

Помимо рассмотренных выше синтаксических явлений было бы возможно исследовать и целый ряд других, например, использование приименного родительного падежа в соотношении с прилагательными. Однако выводы, которые можно было бы сделать на основании анализа этих явлений, ограничены как в хронологическом отношении (они относятся ко времени после четкого выделения класса прилагательных), так и потому, что они ничего не дают для анализа связей в морфологической модели в целом.

Выше мы рассмотрели фонологические и морфологические модели древнейших состояний балтийских и славянских языков (причем в ряде случаев для удобства изложения мы рассматривали балтийскую и славянскую модели совместно, чтобы избежать повторения одинаковых рассуждений). Мы попытались также указать некоторые возможности определения совместимости отдельных частных моделей друг с другом в связи с рассмотрением возможностей комбинаций элементов этих частных моделей в тексте. Мы исходили из допущения, что эти частные модели могут быть совмещены таким образом, что они образуют звенья единой балтийской (и соответственно единой славянской) модели, но такая единая модель является еще более абстрактной системой, чем отдельные ее звенья. Тем не менее мы считаем целесообразным использовать эти абстрактные системы для формального определения древнейших отношений между балтийскими и славянскими языками, тем более, что в данном конкретном случае полное совпадение частных моделей, порознь установленных для балтийского и славянского, практически исключает вероятность случайности и делает особенно правдоподобным наше допущение о совместимости частных моделей.

Как видно из изложенного выше, отдельные частные модели, установленные для балтийского и славянского, являются тождественными, а так как они, согласно нашему допущению, могут рассматриваться как звенья единых балтийской и славянской моделей, то и эти последние оказываются тождественными и могут быть полностью наложены друг на друга. Положительный

ответ на сформулированный нами в начале доклада вопрос об отношении моделей древнейших состояний балтийских и славянских языков следует, во-первых, из возможности полного наложения друг на друга этих моделей, во-вторых, из того, что эти тождественные друг другу модели существенно отличны от общеиндоевропейской. Это относится как к фонологической частной модели (ср. систему индоевропейских фонем в том виде, как она реконструируется согласно ларингальной теории), так и к морфологической (ср. иной состав падежной парадигмы, системы родов, отмеченную выше инновацию в системе глагола и т. п.). Сравнение общеиндоевропейской модели с балто-славянской позволяет выделить специфические балто-славянские новообразования. Некоторые из этих новообразований порознь встречаются и в других индоевропейских диалектах. Однако в других индоевропейских диалектах мы не находим такого же сочетания этих новообразований и не находим особенно доказательных новообразований, которые одновременно отражаются в разных частных моделях и используются на разных уровнях (ср., например, использование специфических акцентологических средств и долгой ступени в морфологии). Насколько можно судить без специально проведенного исследования (которое выходило бы далеко за рамки настоящего доклада и относилось бы к проблемам индоевропейской диалектологии в целом), не существует ни одного индоевропейского диалекта, для которого можно было бы установить модель древнейшего состояния, тождественную установленной выше балто-славянской. Но даже если бы такой индоевропейский диалект и был обнаружен, это не повлияло бы на сделанный нами вывод об отношениях между балтийскими и славянскими языками и имело бы значение лишь для решения более общего вопроса о членении индоевропейской языковой области.

После формального решения поставленного нами вопроса об отношениях между древнейшими общими моделями можно попытаться дать содержательную интерпретацию этой картины. Эта интерпретация предполагала бы, в частности, определение того, можно ли отнести тождественные модели балтийского и славянского древнейших состояний к одной временной плоскости или же

одну из этих моделей следует рассматривать как результат преобразования другой, предшествующей ей во времени (под преобразованием мы подразумеваем такое отображение одной системы в другую, при котором могут сохраняться все существенные признаки системы, выступающие в качестве инварианта при преобразованиях¹). Из двух указанных возможностей нам представляется необходимым выбрать вторую, а именно считать модель, установленную для славянского, результатом преобразования модели, установленной для древнейшего балтийского состояния (обратное соотношение исключается ввиду ряда фактов, указанных выше при установлении фонологической и морфологической модели). К такому выводу нас побуждают следующие соображения. Выше, при анализе истории фонологической и морфологической системы, мы неоднократно указывали на то, что непосредственное сравнение современных балтийских диалектов позволяет достичь таких результатов, которые для праславянского возможны лишь при очень глубокой внутренней реконструкции. При этом в тех случаях, когда мы можем совместить целые периоды в развитии балтийских диалектов и праславянского, исходная точка развития последнего оказывается несколько более поздней, чем реконструированное общеебалтийское состояние. Кроме того, выводы временного характера могут найти подтверждение и в соображениях пространственного плана: исключительная диалектная дробность балтийской языковой области при слабой дифференцированности славянской области, с одной стороны, и значительная ограниченность балтийской области, по сравнению со славянской, с другой, позволяют видеть в данном случае проявление вполне определенной закономерности, наблюдаемой во многих других случаях. Речь идет о такой зависимости между пространственными фактами (диалектной дробностью и площадью, занимаемой языком) и временными, при которой языки с наименьшей дробностью и наибольшей площадью распространения

¹ Ср. об инварианте при преобразованиях в статье: М. Борн. Физическая реальность.— «Успехи физических наук», т. LXII, вып. 2, 1957, июнь, стр. 134.

оказываются языками наиболее позднего происхождения, распространившимися по этой территории в позднейший период (ср. языки банту и бантоидные, английский язык на разных континентах в сравнении с дробностью других западногерманских языков на территории Европы и т. п.).

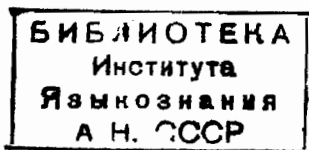
Диалектная дробность должна быть признана для балтийской области не только в современный период, но и на всем протяжении истории балтийских диалектов — вплоть до общепалтийского состояния. Эта сильно дифференцированная диалектная область может быть реконструирована лишь частично с помощью проекции на нее известных нам балтийских диалектов. То, к чему мы приходим таким путем, не исчерпывает всей древнейшей области, которая в этом смысле может быть названа открытой, т. к. она может быть продолжена в определенных направлениях. Именно на продолжение этой области приходится проецировать то, что устанавливается для древнейшего состояния славянских языков.

Наличие диалектной дробности уже в общепалтийском (как и в общепалеоевропейском) не противоречит возможности установления структурной модели, общей для всех диалектов. Установленная нами модель в силу ее весьма абстрактного характера допускает возможность объединения в ней достаточно различных конкретных проявлений в отдельных диалектах. Единицы, вошедшие в модель, присущи всем диалектам, но каждый из них, кроме того, мог включать единицы, не отраженные в модели, но и не противоречащие ей.

Исследование характера диалектных отношений в этой древнейшей области может представлять интерес для выяснения некоторых принципов социальной организации этой области. Для этого существенны были бы и лексические данные, поскольку здесь мы имеем дело с целыми словами, которые не только являются элементами системы, служащей для коммуникации, но и отражают содержание акта коммуникации. Но с этим связан и ряд трудностей, которые обусловили отказ от специального рассмотрения лексики в настоящем докладе. Мы имеем в виду трудность реконструкции целых слов, а не отдельных морфем для достаточно древних эпох (по отношению к которым лексика в той мере, в какой она связана с системой языка, растворяется в морфологии); трудность реконструк-

ции системы семантических соотношений, связанных с внелингвистическими фактами, которые остаются нам неизвестными (и часто сами могут быть реконструированы лишь на основании лексических данных); зависимость степени сохранности древней лексики от относительного и абсолютного возраста языка (в этой связи отсутствие в славянских языках ряда архаичных терминов, имеющих в балтийских языках, может быть истолковано в пользу высказанного предположения о более позднем происхождении славянских языков).

Нам представляется, что при решении поставленного вопроса необходимо четко определить средства, находящиеся в распоряжении у исследователей, и круг проблем, решение которых возможно с помощью этих средств. Именно с этим связан избранный нами путь формального исследования на более абстрактном уровне. Этот путь может дать выигрыш в большей строгости методов и в большей достоверности получаемых результатов, хотя он, очевидно, ведет к проигрышу в непосредственной наглядности восстанавливаемой доисторической картины, что, однако, представляется нам неизбежным.



Сдано в набор 27/1 1958 г.
Пошл. в печать 15/II 1958 г. Формат бум. 84×108^{1/2}_{вз.}
Печ. л. 1,37(2,05). Уч.-изд лист. 1,9
Т-00059. Тираж 1100 Изд. № 3156 Тип. зак. 87.

Бесплатно

Издательство Академии наук СССР,
Москва, Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Шубинский пер., д. 10

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
5	12 стр.	положения	наложения
9	2 стр.	ё	ё
10	17 стр.	а̄ и ȫ	а̄ и ȫ
11	17 стр.	в'	в'

В. В. Иванов и В. Н. Топоров

2

Бесплатно